26 АВГ 1982

Людмила Гурченко

ТАК БЫЛО

Папа вернулся!

Война кончилась.

Была середина сентября. В городе, на Клочковской, в нашем дворе вспыхивали вечеринки. Это возвращались с войны мужья, сыновья, женихи. На всю улицу играл баян, пели, голосили, громко рыдали. На такую вечеринку заходи кто хочет — радость всеобщая. Обиды прощались.

В нашем дворе тоже были две такие вечеринки — вернулись мужья.

Почему же до сих пор нет моего папы? Когда же, ну хоть приблизительно, его ждать?

...В дверь сильно стучали. Мама вскочила и побежала на кухню. За время войны я так привыкла спать с мамой, что мне стало холодно и одиноко. Это ощущение я тогда хорошо запомнила. В щелях ставен пробивался серый рассвет.

— Кто?

— Лель, ето я! Открывай, не бойсь! Защитник Родины вернулся — Марк Гаврилович, не бойсь!

Послышались звуки открываемых замков: сначала тяжелый железный засов, потом ключ один, потом второй, потом цепочка...

— Та-ак! А хто дома?

— Люся.

— Ага, дочурка дома... А ето хто курив тут?

— Это я...

— Э-э, здорово, кума! Ну, держися!

Вдруг я вижу, как в комнате осторожно, согнувшись, появляется человек в военной форме с зажигалкой в одной руке и с пистолетом в другой, заглядывает под стол, хотя стол без скатерти, потом под кровать, на которой я сижу, прижавшись в углу, а на меня никакого внимания. Вроде, нужно как-то реагировать, что-то сказать, но не могу.

Все эти годы я так ждала папу, столько раз по-разному рисовала себе его приезд с фронта... А теперь все — его голос, и его поза, и серая ночь, и жалкая, испуганная мама — все-все-все не соответствовало чуду, которое я связывала со словом «папа».

Из-под кровати раздался сдавленный голос: «Ничего... я усе равно взнаю... Люди — они скажуть... Тогда держися, тысяча вовков тибя зъешь... усех повбиваю... И сам у допр сяду. Ну! Здорово, дочурка!».

Схватил меня на руки, подбросил в воздух: «У-у! Як выросла! Якая богинька стала, моя дочурочка. Усю войну плакав за дочуркую...». И залился горькими слезами, что «мою дочурку, мою клюкувку мать превратила в такого сухаря, в такую сиротку».

Это был мой папа! Тот, которого я ждала! Ну как же я могла только что не узнать его голоса, пугаться чего-то «чужого». Это мой папа! Его, именно его, мне не хватало все эти четыре года. Теперь я ему все расскажу.

— Ну, Леличка, давай унесем у хату вещи. А што я своей дочурке привез!

В нашем сером и неуютном доме засверкали диковинные вещи. Первым папа вынул бережно завернутое в тряпочку маленькое ручное бронзовое зеркальце — сверху бабочка, снизу ангел, разглядывающий себя в зеркало. Наверное, ангел и поразил папу больше всего.

Каждый подарок он сопровождал историей: «У город вошли без боя. Спали у бароньском замку. Такога я ще зроду не видав. Ты бы поглядела, Леля, якая красота. Куда там моему пану у диревни. Озеро, лебиди... усе стоить, а хозяев нима — как только што вшли. Усе лежить на столах, собаки воють, свинни землю роють, лошыди хрипять. Земля непаханая — прямо плачить земелька. Я пошел у во двор, поналив усем воды, понакормив усех собак, свинней, а наутро вже усе — ко мне наперебой! Скотина, она ж не виновата... Як увидев ето зеркальце — дай, думаю, дочурочке привезу. Усю жисть у него глядеть будить и папусика помнить».

Так и есть. Смотрюсь в это зеркало с бабочкой и ангелом и вижу папу...

— Лялюша! Про тибя тоже не забыв, — и бросил маме мешок. Ого! Ей большой мешок. А мне? Мама скрылась в другой комнате.

— Тибе, дочурочка, ще веломашину женскую привез. Завтра у багаже з Лелюю возьмем. Прямо на дороге подобрав, сам починив. Не новая, правда, но ездить ще можна. А главное, дочурка, ту у меня актриса. И я тибе привез главный подарок! Исключительно артистическое платтика. Усе у каменнях... такое тяжелое, черт. Ето вже у самом Берлини старушка на базаре за сахар отдала. Я ей ще и хлеб у придачу — она аж руки лезить целовать. «Да што вы, мама,якой я пан? — паном меня называить, — берите, ешьте на здоровье». Так она меня расстроила.

Чтобы увидеть это платье, надо представить себе павлиний хвост, только не из перьев, а из бисера и переливающихся камней. Таким оно было сзади. А впереди платье было короче и висели гирлянды бисера, как на абажуре. А к этому платью еще зеленые атласные туфли на высоком тонком каблуке 35-го размера — «ну вокурат, як у дочурки».

Как же папа мной восхищался! Только он так умел: «Вот ето да! Як я угадав. А сидить платтика — як тут було. Ну, дочурка, ты щас в меня настоящая пава! Утрушкум у во двор от так, у етим платтике и выйди — усех соседей на лупаты положишь! Во папусик так папусик! Во ето Марк Гаврилович...»

Мы услышали, как в соседней комнате что-то тихо замурлыкала мама. Мама пела редко. Слух у нее был неважный, и она боялась наших насмешек. Она напевала «Осень», и в ее пении чувствовалась особенная, ее собственная радость и тайна. Мы с папой переглянулись — както забыли про маму — и вошли к ней. Она испуганно повернулась и вопросительно посмотрела на папу.

На ней было рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечами, на шее большие янтарные бусы, а на плечах черно-бурая лисица — предел мечтаний каждой женщины в то время. В руках мама держала коричневую крокодиловую сумку.

— Ну, девки, якеи вы у меня. Як на Первое мая! Во ето семья! Вот тибе, Лялюша, и Марк Гаврилович!

И опять папа полез в мешок. Опять замирает сердце. Опять жду, затаив дыхание. Он вынул что-то белое, тяжелое, состоящее из рожка и станка, на котором кружочек с цифрами. Папа подмигнул мне, приложил рожок к уху и громко на всю квартиру произнес: «Алле! Елена Александровна! Здравия желаем! З вами гаварить ваш любимый муж — Марк Гаврилович Гурченко! Как меня слышите? Не слышу вашаго ответа...»

Мама вошла с тарелкой капусты и счастливая смотрела на папу.

— Марк, котик, ну зачем нам телефон? Куда нам звонить? Есть нечего, дров, угля нет, а ты...

— Усе будить, Лялюша! Лишь бы здоровья господь послал. Теперь Марк Гаврилович вернулся! И хлеб будить, и топливо, и телефон. Зато самый лучий — белый! Такога ни в кого не будить!

Наша голая, серая квартира... Я в бисерном платье и в атласных туфлях, мама с лисой на плечах и с тарелкой капусты и папа в военной солдатской форме с двумя медалями и с белым телефоном...

Сейчас, через время, я смотрю на это со стороны, и мне кажется все необычным, смешным. А тогда все было нормальным и естественным...

Высшее чувство

Новое, неосознанное чувство начинало во мне рождаться именно тогда, в годы войны, когда я пела в госпитале. Я точно знала, что это чувство связано со словом «любовь». Это — любовь. Но к чему? К кому? Номером один для меня была любовь к папе. Для нее самое большое место в сердце. Она не может смешиваться ни с какой другой любовью.

Любовь номер два — к музыке, к кино, к профессии. А какая же еще любовь? Мои увлечения мальчиками и подружками? Нет, это не то... Это новое чувство начинало постепенно вытеснять все остальные и становиться в ряд с любовью к папе. А потом я уже не могла понять, где «любовь к папе», а где «это»? Что же это за мучительное чувство? Но почему же, когда я пою:

И с беспредельной гордостью
Ответил гармонист:
«С Васильевского острова,
С завода «Металлист».
С завода «Ме-е-е-таллист»!—

я плачу и ставлю себя на место гармониста, и уже сама переполняюсь беспредельной гордостью?

Почему, когда я пою:

Любимый город может
спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть
среди весны...—

я хочу любимому измученному Харькову довоенных счастливых дней, готова отдать все, чтобы защитить его, чтобы мой город зеленел среди весны?..

Даже за лирическими строками:

Подарила платочек
прекрасный,
Ты такого нигде не найдешь,
Эх, платочек, ты шелковый,
красный,
Ты со мною по фронту
пойдешь...—

я вижу бой. Убит знаменосец с красным флагом, но флаг нужен, без флага нельзя... И боец, весь израненный, поднимается и ведет в бой остальных! А в руке у него, как знамя, красный шелковый подаренный платочек. Вот и «прошел по фронту» платочек.

Это чувство, эта непонятная мучительная любовь уводила, уносила меня высоко-высоко. Я бывала под гипнозом «этого» чувства.

Теперь я знаю, как «это» чувство формулируется, я знаю, что это за любовь.

Это — любовь к Родине! Да, вот так просто. Просто и сложно. Так просто и так сложно, радостно и болезненно располагается она в сердце.

«Это» мне подарил мой папа! Этим чувством он был пронизан насквозь. Он этого и не осознавал. Он весь состоял из этого.

Он любил землю. В самом прямом значении слова «земля». Не вообще вселенную, а ту землю, по которой ходим. Он брал ее в руки, пересыпал, целовал ее: «Ах ты ж, моя земелька дорогенькая... Тужилася, кормилица, тужилася... и якие мне цветики подарила», — так он разговаривал с землей, когда под окном у нас выросли розы необыкновенной красоты. Все цветы — розы, сирень, пандыш, даже березку — он называл одинаково: «цветики». «Пей водичку, земелька... попей, детка...». Я всегда любила слушать, как он разговаривал с землей, с «цветиками», придумывая им все новые и новые ласковые слова...

А как папа любил пение русских хоров! После войны, когда немного пришли в себя, папа взял меня с собой на выступление хора имени Пятницкого. Я не знала, куда мне смотреть — на сцену или на папу. Он слушал с восторгом, со слезами. Громко аплодировал, оглядываясь на публику, призывая ее еще более восторженно приветствовать хор.

— Во, дочурочка, як поють вольно! Голос летит уверх, не застреваить. Горло не зажимають, як у нас в опири харькивский. Усе влыбаются, довольные... Эх, птичка моя, як поють!

Как истинно русский человек, он жалел людей. Я не помню, чтобы его не любили. О врагах не могло быть и речи. Людям же он прощал и мелкие грехи и крупные, и мама его так и не смогла переделать ни в чем. Он мог подшучивать, но обидеть человека — не помню. Шутки, конечно, были своеобразные, «личные». Папа мог того «кровенного», который отказался выпить с «братвой» «за честь, за дружбу», привязать и напоить. В общем, разное бывало, особенно до войны, когда «быв ще молодой». Обижал только маму: «Ну, ето дело святое. Штоб свое место знала...»

В 1972 году я была с группой кинематографистов в туристической поездке по Италии — Сорренто, Капри, Неаполь, Рим. Был уже конец поездки. Мы возвращались в Рим, оттуда в Москву. Ехали в большом мягком автобусе. За окном по обеим сторонам трассы рос мелкий кустарник. Было начало октября. Трасса называлась «Солнечная», а день был пасмурный, накрапывал дождь. Шоферитальянец, чтобы нас развлечь, повернул к себе микрофон и запел «Санта-Лючия» — русские, мол, эту-то знают... Он пел и вопросительно поглядывал на нас в зеркало — почему нет никакой реакции? Он не знал, что это кинематографисты...

В это время у меня был один из самых безнадежных периодов в жизни. Не было интересной работы, я цеплялась за малейшую возможность — только бы действовать. Плохо было и в личной жизни.

Я сидела погруженная в свои мрачные мысли. Дождь, серость за окном еще больше давили на душу. И вдруг я встала. Почему? Я и не думала вставать... Куда идти? Что я буду сейчас делать? Почему я взяла смелость обратить на себя внимание?

Меня подняла какая-то сверхсила. Я опять была под гипнозом, как в детстве, тогда, в госпитале. Я подошла к водителю, попросила у него микрофон. Я уже ни на кого не смотрела, только на скучный серый пейзаж «Солнечной трассы».

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок,
Покидая ваш маленький
город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами совсем
незнаком
И далеко отсюда мой дом...

Вася Шукшин смотрел на меня повлажневшими глазами. Смотрел прямо, вглубь... Первый раз за всю поездку мы услышали его голос. Он сказал громко:

— Люся, спой ту, которую ты пела по телевизору... Знаешь, какую?

— А-а? Конечно.

Тропинка узенькая вьется
Через сугробы вдоль плетня,
Я прохожу, а у колодца —
Судачат бабы про меня.
Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется,
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется...

Это чувство наиболее остро проявляется за границей. Твой дом, твоя земля, твоя Родина остались там. А ты здесь. И если в тебе самом нет этого чувства, нет этой силы, которая дает тебе опору, то тогда ты — один, беззащитен, раним, проваливаешься и спотыкаешься, становишься похож на дом без фундамента...

(Окончание. Начало в №№ 98, 99, 100, 101).